

Майя Зорина

Город, где
тонет солнце

Майя Зорина

Город, где тонет солнце

<https://litres.ru/74480867>

SelfPub; 2026

Аннотация

Год назад море забрало у Веры отца — и она возненавидела воду, город у залива и весь мир заодно.

Новая школа встретила травлей: дохлой рыбой в шкафчике, записками «утопленница», холодными спинами одноклассников. Заступился только один — Марк Гайдт, самый опасный парень города. Хулиган, которого все боятся: гоняет по ночам, лазает по крышам, живёт один. За его дерзостью Вера разглядела мальчика, потерявшего покой после ухода матери. А он разглядел в ней ту, что снова умеет светиться.

Их первая любовь вспыхнула наперекор всему — травле, запретам, страху. Марк научил Веру не бояться моря и обещал увезти её туда, где нет штормов. Обещал вернуться.

Но город у воды никого не отпускает просто так. И за каждый светлый день выставляет счёт.

Молодёжный роман о первой любви, буллинге и потере — из тех, что читают за одну ночь и плачут навзрыд. Из осколков разбитого сердца, оказывается, можно сложить крылья.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Воруюсь чужое небо	7
Глава 2. Рыбья дочь	20
Глава 3. Теперь ты моя должница	33
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Майя Зорина

Город, где тонет солнце

Пролог

В тот день море впервые отдало мне что-то, вместо того чтобы забрать.

Я стояла на самом краю косы, там, где старый маяк вращается в небо ржавым гвоздём, и держала в руках отцовскую камеру. Солёный ветер бил в лицо, трепал волосы, рвал из рук лёгкую куртку. Камера — отцовская, та самая, что потом сохранит тебя навсегда, — щёлкала затвором. Щёлк. Щёлк. Я снимала море. То самое, которого когда-то боялась до дрожи, а теперь — нет. Высокое небо, синяя вода, белая полоса прибоя, которая накатывала и откатывала, накатывала и откатывала, будто море дышало.

Говорят, у каждого города есть своё лицо. У этого было лицо человека, который смотрит на тебя и молчит, потому что знает что-то, чего ты ещё не знаешь.

Я приехала сюда в конце августа, чужая, злая, с дырой в груди размером с отца. Я ненавидела этот город за то, что он стоит у воды. Я ненавидела воду за то, что она забрала и не вернула. Я думала, что хуже уже не будет, — и в этом была

моя главная ошибка, потому что хуже всегда есть куда.

А потом появился ты.

Я закрываю глаза и вижу тебя так ясно, будто ты стоишь рядом, — высокий, в мокрой куртке, с этим своим шрамом через бровь и серыми глазами цвета штормового моря. Ты смеёшься надо мной, как смеялся в первый день, задрав голову с крыши: «Эй, синева. Ты тоже воруешь чужое небо?»

Я тогда не ответила. Я вообще долго не отвечала тебе, потому что разучилась говорить с живыми. Я умела говорить только с теми, кого уже нет.

Ты научил меня заново.

— Я научу тебя не бояться моря, — сказал ты однажды на этом самом маяке, когда внизу ревел залив, а я вцепилась в твою руку так, что побелели костяшки. — Слышишь? Не бойся. Море — оно как человек. Если перестанешь его бояться, оно перестанет тебя пугать.

Ты врал. Море не перестало. Море только притворялось.

Ветер вырвал у меня из пальцев бумажный самолётик — последний, который я успела сложить из страницы тетради, исписанной твоей рукой. Я смотрела, как он взлетает, кувыркается, ловит восходящий поток — и не падает в воду, а уходит вверх, против ветра, выше, выше, к рваным облакам.

«Чем сильнее встречный ветер, тем выше взлёт», — сказал бы ты.

Я стояла на краю света, на ржавом гвозде в сером небе, и больше не отворачивалась от моря. Я смотрела ему прямо в

лицо. И море смотрело на меня в ответ — огромное, древнее, равнодушное — и впервые ничего не забирало. Оно отдавало. Оно возвращало мне меня — ту, которой я была до того, как стала бояться.

Я тогда ещё не знала, что оно заберёт взамен.

Если ты читаешь это — а я почему-то верю, что ты читаешь, оттуда, где небо всегда против ветра, — знай: я сдержала слово. Я перестала бояться.

Это самая дорогая и самая жестокая вещь, которой меня научила любовь.

Меня зовут Вера. И это история о городе, где тонет солнце, и о мальчике, который однажды не дал ему утонуть во мне.

Только сначала надо вернуться в конец августа. Туда, где я ещё ничего не знала. Где ты был ещё жив, и небо было просто небом, а море — просто водой за окном чужой квартиры.

Туда, где всё началось.

Глава 1. Ворует чужое небо

Окна новой квартиры смотрели на воду.

Я поняла это сразу, как только мы переступили порог, — раньше, чем разглядела облупленные обои, раньше, чем почувствовала чужой запах прежних жильцов. Я просто шагнула в пустую комнату, которой предстояло стать моей, подошла к окну — и там, за рядами серых панельных домов, за крапом порта и ниткой моста, лежало оно. Серо-стальное, плоское, бесконечное. Залив.

Мама встала рядом и сказала тихо, будто извиняясь:

— Красиво же, Вер. Море.

Я не ответила. Я смотрела на воду и думала о том, что год назад другое море, в другом городе, забрало моего отца и не вернуло даже тела. И вот теперь я буду просыпаться и засыпать лицом к этой твари. Каждый день. Будто меня нарочно поселили напротив того, что я больше всего на свете ненавижу.

— Вид на залив — это плюс к стоимости, — сказал из коридора Виктор и постучал костяшками по стене, проверяя, не пустотелая ли. Он всё проверял. Стены, краны, людей, чеки в магазине. — Считай, повезло.

Повезло. Я сжала ремень камеры так, что он впился в ладонь.

Камера была отцовская — старый плёночный «Зенит», тяжёлый, как кирпич, с поцарапанным объективом. Папа учил меня снимать на неё, когда мне было десять. «Смотри, Веруня, — говорил он, прищурив один глаз и наведя объектив на меня. — Фотография — это не про то, что видно. Это про свет. Поймаешь свет — поймаешь всё». А ещё он складывал мне из бумаги самолётики. Из чего угодно — из салфетки в кафе, из старого билета, из странички блокнота. Запускал в окно и говорил: «Видишь, Веруня? Он же не падает. Чем сильнее в него дует, тем выше он лезет. Вот и мы с тобой так. Подрастёшь — улетим отсюда, поглядим мир. Ты да я».

Мы никуда не улетели. Море оказалось быстрее.

После похорон я забрала камеру себе. Мама хотела убрать её на антресоль, к остальным папиным вещам, которые она спешно, будто стыдясь, сложила в коробки и заклеила скотчем. Я не дала. Камера была единственным, что от него осталось и что не пахло больницей и чёрным крепом. Она пахла папой — табаком, кожей чехла и немного машинным маслом. Я не снимала уже год. Но камеру носила с собой везде. Так носят с собой ключ от двери, которой больше нет.

В тот первый вечер я распаковала только одну коробку — свою. Книги, свитер, в котором ещё держался запах нашего старого дома, пачка старых фотографий и тетрадь, на последней странице которой рукой отца был записан рецепт его дурацких блинов с корицей. Я положила тетрадь под по-

душку. С ней было легче засыпать в комнате, где даже тени были чужие.

Ужинать в тот вечер сели втроём, за столом, втиснутым между нераспакованными коробками. Виктор разложил на коленях салфетку, уголок к уголку, и оглядел кухню так, будто уже прикидывал, что здесь переделать.

— Значит, так, — сказал он, и я поняла, что сейчас будут правила. У Виктора всё начиналось с «значит, так». — Раз уж мы теперь одна семья и живём вместе, давайте сразу договоримся. В доме порядок. Вещи на местах, ужин в семь. И со двором этим я ещё разберусь — контингент там, смотрю, специфический.

Мама кивала. Она всегда кивала. Раньше, при папе, она смеялась, спорила, могла запустить в него полотенцем за неудачную шутку — а теперь только кивала, будто из неё вынули какую-то пружину.

— Вера, тебя тоже касается, — добавил Виктор. — Понимаю, возраст и всё такое. Но фотоаппарат свой за стол не таскай. Не музей.

Я опустила руку на камеру, лежавшую у меня на коленях. Промолчала. На стене напротив тикали Викторовы часы — он повесил их первым делом, ещё до того, как мы разобрали постели, — тикали так громко, что хотелось их снять и утопить. Утопить. Я поймала себя на этом слове и сжала зубы.

— Папа всегда брал камеру с собой, — сказала я тихо. Не знаю зачем. Может, просто чтобы проверить, жива ли ещё

мама. — Даже в рейс. Говорил, без неё не видит.

За столом стало тихо. Виктор перестал жевать.

— Ир, — сказал он негромко, не мне, а маме. — Мы же договаривались.

И мама — моя мама, которая когда-то могла переспорить кого угодно, — ответила, не поднимая глаз от тарелки:

— Вера. Не за столом. Пожалуйста.

Вот и всё. Не «расскажи про папу». Не «я тоже скучаю». А «не за столом» — будто отец был неприличной темой, пятном на скатерти, которое надо прикрыть тарелкой, чтобы гость не заметил. Я встала, сказала «спасибо, я наелась», хотя не съела ни кусочка, и ушла к себе. И полночи лежала, прижимая к груди тетрадь с рецептом блинов, и спрашивала себя об одном, от чего не было спасения: кто ей теперь важнее — я или он?

Мы переехали в Калининград из-за Виктора. Маму с ним свёл случай и, как я подозревала, страх остаться одной — они поженились через семь месяцев после того, как папу объявили погибшим. Семь. Я считала. Виктору предложили хорошую должность в порту, мама уцепилась за этот переезд обеими руками, и я понимала почему: в нашем старом городе всё напоминало об отце. Каждая лавочка, каждый двор. Здесь не напоминало ничто. Здесь меня просто не было до этого августа. Иногда я думала, что мама и меня бы заклеила скотчем и убрала на антресоль, если бы могла, — слишком уж я была похожа на него. Те же серо-зелёные глаза, та же

привычка шуриться.

Город встретил меня дождём и запахом чего-то сладко-гнилого — то ли водорослей, то ли старой листвы. Калининград оказался странным, разломанным надвое. Река делила его на две части, и части были разные, будто их склеили из двух чужих городов. На правом берегу стояли старые дома из тёмно-красного кирпича, с острыми черепичными крышами и круглыми башенками, — наследство тех, кто жил здесь до нас, давно, под другим флагом и другим именем города. А на левом, где поселились мы, тянулись бесконечные панельки, серые, как вода, с одинаковыми балконами, увешанными чужим бельём.

Между двумя берегами горбатился разводной мост. По вечерам, если повезёт, можно было увидеть, как он медленно поднимает крылья, пропуская корабль, — и тогда две половины города ненадолго переставали быть единым целым. Я сразу почувствовала себя как этот мост. Разведённой надвое. Между той Верой, у которой был отец, и этой — у которой осталась только его камера и тетрадь с рецептом блинов.

Школа добила меня окончательно.

Первое сентября в чужой школе — это особый вид пытки, который стоило бы запретить какой-нибудь конвенцией. Все друг друга знают. У всех есть свои места, свои шутки, своя история длиной в десять лет. А тыходишь в класс посреди этой истории, как опечатка, и тридцать пар глаз поворачиваются к тебе с одинаковым выражением: «а это ещё кто?».

— Знакомьтесь, у нас новенькая, — сказала классная, Тамара Петровна, женщина с усталым лицом и брошкой в виде якоря. — Снегирёва Вера. Прошу любить и жаловать. Вера, садись пока вон туда, к окну.

Конечно, к окну. Конечно, лицом к заливу. Я готова была рассмеяться, если бы умела ещё смеяться.

Я шла к парте под взглядами и складывала в голове кадры — по привычке, чтобы не думать о том, как горят щёки. Девочка в первом ряду, красивая до неприличия, с каштановой волной волос и идеальными бровями, смотрела на меня оценивающе, как смотрят на вещь в магазине, прикидывая, стоит она своих денег или нет. Я потом узнаю, что её зовут Кристина и что в этой школе она — солнце, вокруг которого всё вращается. Рядом с ней развалился парень — светлый, гладкий, с улыбкой человека, которому ни разу в жизни ни в чём не отказывали. Стас.

Он один не отвернулся, когда я прошла мимо, — наоборот, проводил меня взглядом и чуть наклонил голову, будто говоря: «интересно». Я не знала тогда, что этот наклон головы обойдётся мне очень дорого.

Села я рядом с тихой девочкой, которая единственная не разглядывала меня. Она читала книгу, спрятав её под партой, и в наушниках у неё что-то едва слышно играло — мелодичное, корейское. У неё было спокойное круглое лицо и чёрные прямые волосы.

— Дина, — сказала она, не отрываясь от книги, когда я

села. И добавила тише, так, что слышала только я: — Не садись больше так близко к Кристине. Это её свет. Чужим в нём холодно.

Я не поняла тогда, что это было предупреждение. Я приняла это за грубость и отвернулась к окну.

К обеду я уже неплохо читала эту школу — фотографии умеют читать кадр, а класс, оказалось, тоже кадр, просто живой. В столовой всё стояло по местам, как на расчерченной схеме. В центре, за лучшим столом у окна, царила Кристина со свитой — две девочки, ловившие каждое её слово, и стайка мальчишек, среди которых выделялся Стас. Их стол был как тот самый свет, о котором говорила Дина: тёплый, яркий, и чем дальше от него, тем холоднее.

По краям сидели все остальные — по двое, по трое, кто с кем дружит. А была ещё невидимая зона, куда никто не садился по своей воле: дальний угол у мусорных баков. Там, спиной ко всем, обедала Дина. Одна. И по тому, как привычно, без обиды, она там устроилась с книжкой, я поняла, что это её место давно и что когда-то её туда посадили силой, а теперь она просто там живёт.

Я взяла поднос и постояла секунду на пороге — как стоят на краю воды, прежде чем зайти. А потом пошла и села к Дине, в дальний угол, спиной ко всем. Не из доброты. Просто там было единственное место, где на меня никто не смотрел.

— Зря, — сказала Дина, не поднимая глаз от книги. — Теперь ты официально из угла. Отсюда не возвращаются.

— Я и не собиралась возвращаться, — ответила я.

Она подняла взгляд. Посмотрела на меня внимательно, будто только теперь увидела, и едва заметно улыбнулась — первая живая улыбка, обращённая ко мне в этом городе.

На большой перемене всё и случилось — то, что потом запустит лавину, хотя тогда я этого ещё не понимала. Я стояла у окна в коридоре, и ко мне подошёл Стас. Просто подошёл, прислонился плечом к подоконнику и улыбнулся своей фирменной улыбкой.

— Снегирёва, да? — сказал он. — А ты ничего так. Откуда приехала? Скучаешь, наверное. Хочешь, покажу город? Я тут всё знаю.

Я хотела сказать, что не хочу. Но не успела. Потому что увидела, как в другом конце коридора Кристина обернулась на нас — на меня и Стаса у окна, — и её красивое лицо на секунду стало совсем другим. Жёстким. Будто кто-то выключил в нём свет и включил что-то холодное.

— Спасибо, не надо, — сказала я Стасу и ушла.

Я думала, что этим всё и кончится. Боже, какой же наивной я была.

Весь первый учебный день я смотрела на воду и почти не слушала. Учителя говорили про ЕГЭ, про ответственный год, про «вы уже взрослые». Я думала: знали бы вы, какая я взрослая. Я хоронила отца в закрытом гробу, потому что хоронить было нечего, — только память и фуражку. Куда уж взрослее.

После уроков я не пошла домой. Дома был Виктор с его постукиванием по стенам и мама с её виноватыми глазами, и я не могла. Я бродила по чужому городу, пока не стемнело. Спустилась к набережной, где старый дядька в драповом пальто играл на скрипке прохожим — странную, тягучую мелодию, от которой щемило в груди. Перед ним лежал открытый футляр с горсткой монет, а в петлице торчал бумажный осенний лист. Я постояла, послушала. Он не открыл глаз, но, когда я уходила, сказал вслед, не переставая играть:

— У тебя лицо человека, который что-то потерял в воде, девочка.

Я застыла. Обернулась. Но он играл себе дальше, будто и не говорил ничего, и я решила, что мне померещилось. Только мелодия ещё долго шла за мной по пустеющим улицам, цепкая, как репей.

Домой я вернулась уже в темноте. И не смогла зайти в квартиру — там, за дверью, работал телевизор и пахло Викторовой жареной картошкой, и всё это было такое чужое, такое не моё, что у меня перехватило горло. Вместо того чтобы открыть дверь, я полезла наверх. По лестнице, мимо последнего этажа, к люку на крышу — он был приоткрыт, замок кто-то давно сорвал.

Я вылезла на плоскую крышу панельки, на гудрон и ветер, и выпрямилась. И задохнулась.

Отсюда был виден весь город сразу — оба берега, и красные крыши справа, и серые коробки слева, и нитка моста,

и порт с кранами. А прямо передо мной, над заливом, садилось солнце. Оно было огромное, расплавленное, оранжево-красное, и оно медленно опускалось в воду — будто море заглатывало его, втягивало в себя, гасило. Дорожка света бежала по волнам прямо ко мне, дрожала, рассыпалась. Небо над всем этим горело розовым и пыльно-золотым, а у горизонта уже наливалось той самой штормовой синевой, которую я научилась ненавидеть.

Город, где тонет солнце.

Руки сами подняли камеру. За год я ни разу не сняла ни кадра — а тут приникла глазом к видискателю, и мир сжался до прямоугольника света и воды. Палец лёг на спуск. Я поймала выдержку, поймала тот самый момент, когда нижний край солнца коснулся горизонта и расплющился об него...

— Эй.

Голос прилетел сбоку, с соседней крыши, и я чуть не выронила камеру.

На крыше соседнего подъезда, отделённого от моего узким провалом двора, стоял парень. Высокий, в расстёгнутой куртке, которую трепал ветер. Он сидел на самом краю, свесив ноги в пустоту, — так спокойно, будто под ним был не девятый этаж, а лавочка. В руках у него тоже было что-то — телефон или маленькая камера, он, кажется, тоже снимал закат. Лица я толком не разглядела в контровом свете: только тёмный силуэт, широкие плечи и блеск глаз.

Он смотрел на меня. Точнее, на мою камеру.

— Серьёзная пушка, — сказал он, кивнув на «Зенит». В голосе была насмешка, лёгкая и привычная, как у человека, который вообще со всеми так разговаривает. — Плёнка, что ли? Антиквариат.

Я не ответила. Я разучилась отвечать живым, я же говорила.

Он не смутился. Наоборот — оттолкнулся руками, легко поднялся на ноги там, на краю, и от этого движения у меня всё оборвалось внутри. Один шаг — и он бы полетел вниз. Но он не полетел. Он стоял на самом краю крыши, на фоне горящего неба, засунув руки в карманы, и смотрел на меня через провал двора, как через реку.

— Новенькая, да? — сказал он. — Из третьего подъезда. Видел, как вещи заносили.

Солнце за его спиной утонуло окончательно. Двор провалился в синие сумерки, и теперь я видела его чуть лучше — острый подбородок, тёмные волосы, что-то светлое, рассекающее левую бровь. Шрам.

— Слезь оттуда, — вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Первые слова, которые я сказала живому человеку по своей воле за этот день. — Упадёшь.

Он замер. Потом склонил голову набок, разглядывая меня уже иначе — будто я сказала что-то странное.

— А тебе-то что? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, усмехнулся — я скорее угадала эту усмешку, чем увидела.

— Не бойся за меня, синева. Я с этим городом давно договорился. Это с тобой он ещё не закончил.

— О чём ты вообще, — сказала я.

— Сама поймёшь. — Он поднял свой телефон, и я услышала тихий щелчок затвора — он снял меня, прямо так, с камерой в руках, на фоне догорающего неба. Я даже возмутиться не успела. — Этот город никого не отпускает просто так. Ты ещё не знаешь, а он уже тебя держит.

Он сунул телефон в карман и пошёл — прямо по парапету, по узкой бетонной кромке высотой в две ладони, отделявшей крышу от девятиэтажной пустоты. Пошёл спокойно, вразвалку, будто по тротуару, заложив руки в карманы. Ветер толкал его в спину, трепал полы куртки. Я перестала дышать. Мне хотелось закричать «стой!», но я боялась, что от крика он вздрогнет и сорвётся, — и поэтому просто стояла и смотрела, как чужой парень гуляет над бездной, и сердце колотилось где-то в горле.

Он дошёл до угла, развернулся на пятке — у меня всё оборвалось внутри — и пошёл обратно, так же лениво.

— Тебя как зовут? — спросил он на ходу, не глядя под ноги.

Я не ответила. Не потому, что не хотела, — просто горло свело.

— Не хочешь — не говори. — Он пожал плечами и спрыгнул наконец с парапета обратно на крышу, и только тогда я смогла выдохнуть. — Буду звать синева. У тебя глаза такие.

Серые с зеленью, как залив перед штормом. Я такой цвет на плёнку год ловлю — не выходит. А у тебя он прямо в глазах.

Я стояла и понимала странную вещь: за этот вечер я сказала этому наглому, лазающему по краям парню больше слов, чем всем живым людям за весь последний год. «Слезь отсюда». «Упадёшь». «О чём ты вообще». Три фразы — а для меня это было почти как заговорить после долгой немоты.

Над заливом зажглась первая звезда. Внизу, во дворе, кто-то звал кошку. Город лежал в синих сумерках — тёмный, чужой, огромный — и впервые с приезда мне не хотелось немедленно из него сбежать.

И, прежде чем я успела хоть что-то сказать, он спросил то, после чего я уже не смогла молчать:

— Так что, синева? Ты тоже воруешь чужое небо?

Глава 2. Рыбья дочь

Первую неделю меня просто не замечали — и это была лучшая неделя.

Я приходила к окну, складывала в голове кадры, отвечала у доски ровно настолько, чтобы не привлекать внимания, и уходила в свой угол к Дине. Дина почти не разговаривала, но её молчание было удобным, нечужим — мы сидели рядом, каждая в своей тишине, и эта общая тишина почему-то грела. Иногда она давала мне один наушник, и я слушала её корейские песни, не понимая ни слова, и от этого было спокойно: можно не понимать и всё равно чувствовать.

Я думала, меня оставят в покое. Новенькая, серая мышь у окна, не лезет, не выпендривается. Кого такая может задеть?

Я забыла про наклон головы Стаса.

Он не отставал. То подсядет на физкультуре, то поймает в коридоре, то напишет — он где-то взял мой номер, и от этого было особенно противно. «Чё делаешь?», «Скучаешь по своему мухосранску?», «Пойдём вечером погуляем, покажу город». Я отвечала односложно или не отвечала вовсе, но Стасу, кажется, было всё равно, отвечаю я или нет. Ему был важен сам процесс — как кошке важен не мышонок, а то, что он шевелится.

А Кристина смотрела.

Я ловила на себе её взгляд всё чаще — короткий, оценивающий, с каждым днём всё холоднее. Она ничего не говорила. Она была слишком умна и слишком красива, чтобы опускаться до разговоров. Она просто смотрела, и под этим взглядом у меня по спине бежал холодок, какого не нагонял даже Виктор с его правилами.

— Отшей его, — сказала мне Дина в пятницу, кивнув на Стаса, который как раз втиснулся ко мне на скамейку в раздевалке. — По-настоящему. При всех. Иначе Кристина решит, что ты на него охотишься, и тогда тебе конец.

— Я его не звала, — огрызнулась я. — С какой стати мне оправдываться?

— С такой, что справедливость тут не работает, — спокойно сказала Дина. — Тут работает Кристина.

Я не послушала. Гордость, наверное. Или просто усталость — у меня не было сил воевать ещё и за то, в чём я не виновата. Я думала: само рассосётся.

Само не рассосалось.

В среду на физкультуре класс делили на команды для волейбола, и меня, конечно, не взял никто — капитаны разбирали народ, как разбирают конфеты из вазочки, и я осталась последней, лишней. Физрук махнул рукой: «Снегирёва, к Кристине, у них нечёт». Лучше бы не махал.

Мяч мне не давали. Совсем. Я стояла на своём квадрате, поднимала руки, открывалась — а мяч летел мимо, через меня, будто я стеклянная, будто меня нет. Команда иг-

рала вшестером против моей пустоты. А потом, когда я отвернулась и расслабилась, кто-то подал — и мяч прилетел мне прямо в висок, сбоку, со всей дури. В глазах полыхнуло белым, я села на пол, держась за голову, а вокруг засмеялись — негромко, культурно, как смеются над удачной шуткой.

— Ой, прости, не рассчитала, — пропела одна из Кристиновых подруг, и по тому, как блеснули её глаза, я поняла: рассчитала. Ещё как рассчитала.

Стас подбежал, присел рядом, сцапал меня за плечо: «Эй, ты как? Дай гляну». И вот это было хуже самого удара — потому что через зал на нас смотрела Кристина. Стояла, оставив бедро, крутила в пальцах прядь волос и улыбалась. Спокойно, почти ласково. В этой улыбке было обещание, от которого мне стало холоднее, чем от мяча в висок.

В понедельник я обнаружила, что меня выкинули из классного чата.

Сначала я даже не поняла. Просто перестали приходить сообщения — про домашку, про замену, про то, что физру перенесли. Я открыла чат, а там вместо привычного списка — «вы покинули группу». Я не покидала. Меня удалили. Я написала старосте, попросила добавить обратно — «ой, наверное, глюк», ответила та и не добавила. Я написала ещё двоим. Прочитали. Промолчали.

Это мелочь, скажете вы. Подумаешь, чат. Но травля никогда не начинается с большого. Она начинается с мелочей, по которым потом и не докажешь ничего: глюк, забыли, случай-

но. Она копится, как вода за плотиной, по капле, по капле, — а ты ещё не видишь воды, ты видишь только, что вокруг почему-то стало холодно и одиноко.

К среде со мной перестали здороваться. К четвергу — отсаживаться, будто я заразная. На литературе нас разбили на группы, и в мою не захотел никто; Тамара Петровна вздохнула и сунула меня к Дине, и весь класс посмотрел на нас двоих с одинаковым выражением — как на брак, который удобно сложить в один угол, чтоб не мешал.

Я держалась. Я говорила себе: ты хоронила отца. После этого школьный игнор — ерунда, комариный укус. Я почти убедила себя.

А накануне, в четверг, был ещё один разговор — тот, что всё расставил по местам.

Я столкнулась с Кристиной в туалете на третьем этаже. Мыла руки, а она вошла со своими двумя подругами, и те как по команде встали у двери — не выпускать. Кристина подошла к соседней раковине, поправила в зеркале и без того идеальные волосы и заговорила — спокойно, негромко, глядя на моё отражение, а не на меня.

— Ты ведь неглупая, да? — сказала она. — Сразу видно. Поэтому объясню один раз. Стас — мой. Не потому, что он мне нужен. А потому, что здесь всё моё. Школа, этот этаж, эти люди. Ты приехала в мой дом и трогаешь мои вещи.

— Я не трогаю твоего Стаса, — сказала я, и голос почти не дрогнул. — Это он не отстаёт. Ему и скажи.

Кристина улыбнулась моему отражению — красиво, по-кошачьи.

— Вот в этом и беда, — мягко сказала она. — Ты думаешь, дело в справедливости. Кто прав, кто виноват. — Она наконец повернулась ко мне, и улыбка исчезла, будто её стёрли тряпкой. — Дело не в справедливости, рыбка. Дело в том, чей это аквариум. А аквариум мой. И я решаю, кто в нём плавает, а кто всплывает кверху брюхом.

Слово «рыбка» она произнесла с нажимом. И в эту секунду я поняла сразу две вещи. Первое: про дохлую рыбу в моём шкафчике она знала ещё до того, как рыба там появилась. Второе, и страшнее: «утопленница» — это тоже была она. Она знала про папу. Знала — и решила бить именно туда.

— Зачем ты так? — вырвалось у меня. — Я же тебе ничего не сделала.

— А так интереснее, — пожала она плечами, отворачиваясь к зеркалу. — Тебе скучно, мне скучно. Считай это развлечением. — Она махнула подругам, те отлепились от двери. — Передавай привет своему морю, рыбка. Говорят, у вас это семейное.

Они ушли, смеясь, а я ещё долго стояла, вцепившись в холодный край раковины, и смотрела на себя в мутное зеркало. На бледное лицо, на глаза цвета залива перед штормом. И впервые за этот год почувствовала не горе. Я почувствовала злость — маленькую, твёрдую, как камешек под языком. И за неё, как ни странно, держаться было легче, чем за всё

остальное.

А в пятницу был шкафчик.

У нас в школе у каждого был свой узкий металлический шкафчик в рекреации — для сменки, для физкультурной формы. Мой достался от какой-то выпускницы, с полустёртой наклейкой-единорогом на дверце. Я подошла открыть его перед физрой — и ещё не открыв, почувствовала запах. Тяжёлый, гнилостный, рыбный.

Внутри лежала рыба.

Большая, дохлая, серебристо-серая селёдка, уже подвявшая, с мутным неживым глазом. Её положили прямо на мою форму, и форма пропиталась насквозь этой склизкой дрянью. А к дверце изнутри был приклеен сложенный вчетверо листок.

Я развернула его непослушными пальцами. И мир качнулся.

На листке печатными буквами, чтобы не узнать почерк, было написано одно слово:

«УТОПЛЕННИЦА».

И ниже, мелко: «Плыви обратно в свой город, рыба дочь. Тут ты никому не нужна».

Рыба дочь.

Я стояла, держала этот листок, и в ушах нарастал гул — тот самый, который накрыл меня год назад, когда в дверь позвонили двое в форме и сняли фуражки, и я ещё ничего не слышала, а уже всё поняла по их лицам. Папа был боцма-

ном. Он ушёл в свой последний рейс осенью, и осенью же шторм перевернул сейнер, и из воды достали не всех. Папу не достали. Море оставило его себе.

«Рыбья дочь». «Утопленница». Кто-то узнал. Кто-то взял мою самую глубокую, самую незаживающую рану — и сунул в неё пальцы, и провернул, ради смеха, ради того, чтобы я «плыла обратно».

Я зажмурилась — и на меня опять накатило то утро.

Звонок в дверь в семь часов. Я открыла, как была, в пижаме, заспанная. На пороге двое в форме, фуражки в руках, за их спинами — серый рассвет. Один был совсем молодой и не мог смотреть мне в глаза, разглядывал коврик. Второй, постарше, спросил: «Здесь живёт семья боцмана Снегирёва?» — и по тому, как он запнулся на слове «живёт», я уже всё поняла. В шестнадцать можно ничего не знать про жизнь и всё знать про смерть — мне хватило одной этой запинки.

Шторм в Северной Атлантике. Сейнер лёг на борт за восемь минут. Спасли четверых из одиннадцати. Папу не спасли. «Тело, возможно, не будет обнаружено», — сказали казённо, вежливо, будто извинялись за неудобство. Тело не обнаружили. Мы хоронили фуражку. Я стояла над маленьким гробом, в котором лежали фуражка и горсть земли, и не понимала, как можно закопать в землю человека, которого забрала вода. Это казалось неправильным до тошноты — будто мы все врём, подыгрываем, а на самом деле он там, в холодной серой воде, совсем один.

С того утра я и не могла смотреть на море. Любое. Оно всё было заодно — одна вода, один убийца, просто в разных местах.

Откуда. Откуда они знают про папу?

Я никому здесь не рассказывала. Ни одной живой душе. Даже Дине. Я закопала это так глубоко, что иногда сама при-творялась, будто папа просто в долгом рейсе и вот-вот вернётся. А они вытащили это на свет, написали печатными буквами и положили мне на форму вместе с дохлой рыбой.

Не знаю, сколько я так простояла. Рекреация постепенно наполнялась голосами, кто-то прошёл мимо, фыркнул, зажав нос: «фу, чем воняет?» — и я поняла, что сейчас сюда придут все, и увидят, и будут смотреть, как я стою над этой рыбой с этим листком и трясусь. И вот этого я уже не вынесла бы.

Я захлопнула шкафчик. Сунула листок в карман — за-чем-то, сама не знаю, может, чтобы они не торжествовали, увидев, что попало в цель. И пошла прочь, не разбирая доро-ги, мимо удивлённых лиц, на улицу, на воздух, потому что в груди не хватало места ни для воздуха, ни для слёз.

Меня нашла Дина. Конечно, Дина. Она вышла следом, отыскала меня за углом школы, где я стояла, привалившись к холодной кирпичной стене, и хватала ртом воздух.

— Шкафчик, да? — спросила она тихо. Не «что случи-лось». Сразу — «шкафчик». Будто знала этот сценарий на-изусть.

Я кивнула. Достала из кармана листок, протянула ей — руки тряслись. Дина прочитала. Её спокойное лицо не дрогнуло, только в глазах что-то потемнело.

— У меня в седьмом классе была жвачка в волосах и кнопки на стуле, — сказала она ровно, возвращая мне листок. — Полгода. Потом им надоело, нашли кого-то поинтереснее. Это пройдёт, Вера. Они как чайки — поорут над тем, кто упал, и улетят. Главное — не падать у них на глазах.

— Откуда они узнали про моего отца? — выговорила я наконец. — Я никому не говорила. Никому. Даже тебе.

Дина помолчала.

— Город маленький, — сказала она. — Порт. Все всех знают. Твой отчим работает в порту, кто-то слышал, кто-то сложил два и два... Тут не бывает чужих тайн, Вера. Тут только твои, пока ты сама не заметила, что они уже не твои.

Я смотрела на залив — отсюда, из-за школы, тоже была видна полоска воды, проклятая, серая, вездесущая, — и думала, что Дина права в страшном смысле. Этот город действительно держал меня. Залез в карман, вытащил папу и помахал им у меня перед лицом. И я ничего не могла сделать. Совсем ничего.

— А кто? — спросила я. — Кто конкретно это сделал?

— Какая разница, — пожала плечами Дина. — Рука, может, и чья-то. Но голова — Кристины. Ты не отшила Стаса. Теперь ты для неё не человек, ты задача. А Кристина задачи решает до конца.

Дина помолчала, будто решая что-то, потом достала телефон и сунула мне под нос.

— На, смотри. Раз уж ты теперь местная.

На экране был паблик. Чёрная обложка, белые буквы: «Города разбитых сердец». Без имён, без лиц — только истории. Десятки, сотни коротких историй, и все про одно: про любовь, которая здесь случилась и здесь разбилась. «Он провожал меня до моста каждый вечер, а потом уехал и не написал ни разу». «Мы целовались под дождём у старой кирпичи, теперь я не могу там ходить». «Она утонула тем летом, а я так и не успел сказать».

— Что это? — спросила я.

— Местное, — пожала плечами Дина. — Кто-то завёл давно, ведёт анонимно, никто не знает кто. Сюда пишут все. Город такой, понимаешь? У моря живёшь — рано или поздно что-нибудь теряешь. Вот и копится. — Она забрала телефон. — Говорят, кто попадёт в этот паблик — у того сердце уже не склеить. Глупость, конечно. Но читать почему-то не страшно. Наоборот. Когда видишь, что не у тебя одной.

Я смотрела на чёрную обложку с белыми буквами и думала, что Дина зря мне это показала. Или, наоборот, не зря. Потому что за всю неделю мне наконец стало чуть легче — от мысли, что в этом городе разбитых сердец моё хотя бы не единственное.

Домой я в тот день шла долго, кружным путём, через набережную, лишь бы не сразу. Скрипача на привычном месте

не было — только пустой каменный парапет и чайки, дерущиеся над чем-то на воде. Я достала листок, перечитала ещё раз — «рыбья дочь» — и хотела порвать его в клочки, бросить в реку. Но не смогла. Рука не поднялась бросать хоть что-то в эту воду. Даже это.

Во дворе, у крайнего подъезда, кто-то возился с мотоциклом. Я узнала его не сразу — а узнав, сбавила шаг. Тот самый парень с крыши, со шрамом через бровь. Он сидел на корточках над старым, выдавшим виды мотоциклом, в руке ключ, на скуле — мазок машинного масла. Рядом, привалившись к колесу, дремал хромой рыжий пёс без ошейника.

Парень поднял голову, когда я проходила мимо. Скользнул по мне взглядом — быстрым, цепким, как тогда, на крыше. И я вдруг поняла, что он видит. Не лицо даже — а то, что под лицом: красные глаза, которые я весь день прятала, дрожащие губы, скомканный листок в кулаке. Он не сказал ни слова. Просто смотрел на секунду дольше, чем нужно, и в сером взгляде не было ни насмешки, ни жалости — что-то третье, чему я тогда не нашла названия. Будто он узнавал во мне знакомое.

— Эй, — окликнул он, когда я почти прошла. Я обернулась. Он кивнул на пса: — Не бойся, не кусается. Он только с виду побитый. — И, помолчав, добавил тише, глядя мне прямо в глаза: — Как и ты, синева.

Я не нашлась что ответить. Ушла в подъезд, чувствуя спиной его взгляд, и сердце впервые за день стучало не от стра-

ха.

Маме я ничего не сказала. Как тут скажешь? Мама и без того держалась на ниточке, а Виктор — Виктор бы только обрадовался поводу: «вот, я говорил, контингент, давай я схожу к директору, устрою разбор», и стало бы в сто раз хуже, потому что нет вернее способа добить жертву травли, чем прийти в школу с родителями и сделать её ещё и ябедой.

Я сама. Я всё привыкла сама.

Ночью я не спала. Лежала, смотрела в потолок чужой комнаты, слушала, как за стеной тикают Викторовы часы, и сжимала под подушкой тетрадь с папиным рецептом. «Рыбья дочь». Знаешь, пап, а ведь они правы, думала я. Я и есть рыбья дочь. Дочь человека, которого забрала вода. И теперь вода как будто пометила меня — иди сюда, ты моя, ты из тех, кого я беру.

Я достала из кармана тот листок. «УТОПЛЕННИЦА», печатные буквы. И руки сами стали складывать его — так, как учил папа. Угол к углу, разгладить сгиб ногтем, ещё раз, крылья врозь. Через минуту в ладони лежал не злой листок, а бумажный самолётик. Кривоватый, сложенный из чужой ненависти, — но самолётик. «Видишь, Веруня? Чем сильнее в него дует, тем выше он лезет». Я запустила его через тёмную комнату. Он клюнул носом и ткнулся в стену под Викторowymi часами. Не полетел, конечно, — из такой бумаги не летают. Но что-то внутри меня от этого крошечного дела чуть распрямилось. Они хотят, чтобы я утонула. А я возьму их

слова и сложу из них то, что умеет взлетать. Когда-нибудь. Не сейчас.

Под утро я подошла к окну. Залив лежал чёрный, и над ним низко, тяжело шли тучи с моря — первые осенние, штормовые. По радио на кухне, которое Виктор не выключал даже ночью, диктор сонным голосом читал прогноз: «... в ближайшие сутки ожидается усиление ветра до штормового, в прибрежной зоне волны до двух метров, морякам и рыбакам рекомендуется...»

Я закрыла окно. Но слова уже забрались внутрь и улеглись там холодным комом.

Усиление ветра до штормового. Море просыпалось. И я ещё не знала, я клянусь, что не знала, — но что-то во мне уже сжалось в предчувствии, как сжимается перед бедой всё живое у воды.

Я ещё не догадывалась, что злость — это тоже своего рода спасательный круг. Что именно она, маленькая и твёрдая, не даст мне пойти ко дну в ближайшие недели. И что человек, который научит меня держаться на воде по-настоящему, в эту самую минуту сидит во дворе над разобранным мотоциклом — и даже не подозревает, что станет для меня и спасением, и самой страшной потерей.

Глава 3. Теперь ты моя должница

Следующие две недели город старательно доказывал, что Марк был прав: он меня не отпускал.

Знаешь, как это работает — травля? Не как в кино, где злодей хохочет и крутит ус. Тихо. По капле. Сегодня тебя забыли позвать в общий чат — мелочь. Завтра соседка по парте «случайно» отодвинулась на сантиметр. Послезавтра твою сменку нашли в мусорке, а на вопрос «кто?» все пожалли плечами. И ты вроде цела, не побита, не ограблена — а внутри с каждым днём всё холоднее, будто из тебя по капле выпускают тепло, и не поймать тот момент, когда замёрзнешь насовсем. Я ловила себя на том, что говорю шёпотом. Что иду по стеночке. Что радуюсь дождю — потому что под капюшоном не видно лица и можно не держать его ровным.

Я стала вести счёт хорошему, чтоб не утонуть. Хорошее за день: Дина дала наушник. Хорошее за день: математичка не вызвала к доске. Хорошее за день: дошла до дома, и никто не сказал мне ничего про папу. Список был короткий и жалкий, но я цеплялась за него каждый вечер, как за спасательный жилет. Папа однажды сказал, что в шторм главное — не паниковать и держаться за то, что плавает. Я держалась за наушник Дины и за свой короткий список. Этого было мало. Но это хотя бы плавало.

Однажды на биологии Стас — он вообще редко думал — громко спросил у всего класса: «А правда, что у Снегирёвой батя того, утоп?» Без злобы даже, из тупого любопытства. Но класс замер, обернулся на меня, и в этой тишине я кожей почувствовала тридцать взглядов на затылке. Я смотрела в учебник, на схему клетки, и линииплыли. Кристина за первой партой улыбнулась уголком рта — довольная, что её снаряд всё ещё летит, спустя недели, сам собой. А Дина под партой нашла мою руку и сжала. Крепко. Так я и досидела до звонка, не утонув.

Травля не утихла — она стала умнее. Кристина не повторялась. После рыбы был испорченный реферат, который я сдавала на оценку: кто-то влез в мой рюкзак и залил листы кофе, и Тамара Петровна, вздохнув, вклеила мне «два» за неряшливость, не слушая объяснений. Потом был тот волейбольный кадр — фотография, на которой я сижу на полу спортзала, держась за голову, с перекошенным от боли лицом. Кто-то снял её исподтишка, обработал, пририсовал мне рыбий хвост и подпись «русалочка вернулась в море» — и пустил гулять по всем чатам параллели. К обеду её видели все. Надо мной не смеялись в лицо. Хуже: на меня смотрели и отводили глаза, будто я что-то неприличное, на что и глядеть стыдно.

Я научилась быть тенью. Приходила к звонку, уходила первой, ела в углу с Диной, держала камеру в рюкзаке прижатой к спине, чтобы случайно не задела. Я разговаривала

вслух только с Диной и иногда — мысленно — с папой. «Видишь, пап, какая у меня теперь жизнь. Зато на море смотрю каждый день, как ты хотел». Получалось горько.

Дома было не лучше, чем в школе, — только тише.

Мама в новом городе ещё больше съёжилась. Устроилась в регистратуру поликлиники, приходила усталая, грела ужин, спрашивала «как в школе?» — и я отвечала «нормально», и она кивала с облегчением, потому что другого ответа ей было не унести. Я видела это облегчение и проглатывала правду обратно. Один раз всё-таки попробовала.

— Мам, — сказала я, когда Виктор вышел на балкон курить. — А если бы тебя где-то не любили. Совсем. Что бы ты делала?

Мама замерла с тарелкой в руках.

— Это про школу? Тебя обижают? — В голосе мелькнул испуг, и я уже почти решилась. Но она добавила, торопливо, будто заговаривая беду: — Вер, ну потерпи, а? Мы только переехали. Виктору тут так важно, чтобы всё было хорошо, без скандалов. Не подведи нас, ладно? Само наладится.

«Не подведи нас». Не «я тебя защищу». Не «расскажи, кто». А «не подведи нас» — то есть не создавай проблем, не порть Виктору его новую правильную жизнь, в которую он так удачно вписал нас с мамой, как вписывают мебель.

— Само наладится, — повторила я. — Конечно, мам.

И ушла к себе, и долго лежала, глядя на тёмный прямоугольник окна с заливом за ним. Раньше, при папе, дом был

местом, куда хотелось возвращаться. Теперь он стал ещё одним коридором, где меня терпели. Я была чужой и в школе, и в собственной квартире — и единственным существом во всём городе, кому я, кажется, была хоть зачем-то нужна, оказался хромой пёс без ошейника. И его хозяин, которого все боялись.

Дина держалась рядом, и я понимала, чего ей это стоит. Её ведь тоже задевало — за компанию. «Кан и рыба дочь», — фыркала свита Кристины им вслед. Дина не реагировала, шла, глядя прямо перед собой, с прямой спиной, и только пальцы у неё иногда белели на ремне сумки. Однажды я не выдержала:

— Ты не обязана со мной сидеть. Тебе же из-за меня достаётся.

— Я и без тебя сидела в этом углу, — спокойно ответила Дина. — Просто раньше одна. Вдвоём, оказывается, теплее. — Она помолчала и добавила: — К тому же я уже знаю, чем это кончается. Им надоест. Главное — дотянуть и не сломаться.

Я цеплялась за эти слова, как за поручень в качающемся автобусе.

А цепляться приходилось всё крепче. Та фотография с рыбьим хвостом не унялась — кто-то залил её в тот самый паблик, «Города разбитых сердец», в комментарии под чужой грустной историей: «вот вам ещё одна утопленница, ха-ха». Её быстро снесли — кажется, сам безымянный автор па-

блика стёр и забанил шутника, — но осадок остался. Теперь, когда я шла по коридору, за спиной шелестело: «рыба... русалка... та самая». Я перестала поднимать глаза от пола. Считала плитки. Двадцать восемь плиток от двери класса до лестницы — я знала это число лучше формул, которые мы проходили.

Учителя или не видели, или делали вид. Однажды математичка, заметив, как мне в спину прилетел скомканный листок, устало сказала: «Снегирёва, не отвлекайся» — мне, не им. Будто я была виновата уже тем, что в меня бросили. Я давно поняла: взрослым удобнее не замечать. Замечать — значит что-то делать, а делать никто не хотел.

Марка я за эти две недели видела всего несколько раз — мельком, издали. Он редко появлялся в школе; кто-то говорил, что он давно махнул на учёбу рукой, что остался на второй год, что работает грузчиком в порту, что вообще не пойми чем живёт. Про него рассказывали страшное и противоречивое: что он чуть не убил кого-то в драке, что гоняет по ночам на мотоцикле и однажды слетел с моста, что у него отец-алкаш и нет матери. Его боялись. Его имя произносили с особой интонацией — смесью опаски и уважения. «Это Гайдт. С ним не связывайся».

Один раз он попался мне во дворе на рассвете, когда я выносила мусор: сидел на бордюре, кормил с руки своего хромого пса какими-то обрезками и что-то тихо ему говорил. Я замерла — таким он был непохожим на свою страшную

славу: просто усталый парень, делящий завтрак с бездомной собакой. Он заметил меня, кивнул, не улыбаясь.

— Как живёшь, синева? — спросил он. И, не дожидаясь ответа, сам же ответил: — Плохо живёшь. По лицу видно.

— Тебя не спросила, — буркнула я и пошла к бакам.

— И правильно, — согласился он мне в спину. — У меня и спрашивать нечего. Я в советах не силен.

Я думала, на этом и всё. Я ошибалась. Просто город ещё не дошёл до главного.

Главное случилось в четверг, в конце сентября, когда уже рано темнело и с залива тянуло мокрым холодом.

Я задержалась после уроков — Тамара Петровна оставила меня переписывать тот самый залитый кофе реферат, и я сидела в пустом классе до темноты, и вышла из школы, когда двор уже опустел и фонари зажглись тускло, через один. Идти домой надо было через гаражи и старую детскую площадку — короткой дорогой, которой я всегда ходила. В тот вечер лучше бы я пошла длинной.

Они ждали меня за гаражами.

Кристина и три её девочки. Я поняла, что ждали именно меня, по тому, как они оживились, увидев меня, как переглянулись. Сердце ухнуло вниз. Я хотела свернуть, обойти, но они уже растеклись полукругом, отрезая дорогу, оттесняя меня в тупик между кирпичной стеной гаража и глухим забором — туда, где темно и куда не выходят окна.

— О, рыбка приплыла, — пропела Кристина. В сумерках

её красивое лицо казалось маской. — Одна. Без своей корейки. Как неосторожно.

— Что вам надо, — сказала я. Голос всё-таки дрогнул.

— Поговорить, — улыбнулась Кристина. — Ты, кажется, не поняла прошлый раз. Стас вчера опять про тебя спрашивал. При мне. Понимаешь, в чём проблема? Пока ты тут, он на тебя смотрит. А мне не нравится, когда на кого-то смотрят, кроме меня.

— Я в этом не виновата, — сказала я, отступая, пока спина не упёрлась в холодный кирпич.

— Пустите, мне домой. — Я попыталась шагнуть в про-свет между ними, но меня тут же толкнули обратно к стене. Та, что повыше, выбила у меня из рук телефон — он отлетел в темноту экраном вниз. — Вас же четверо. Зачем это всё?

— Затем, что можем, — хихикнула одна.

— Затем, что ты до сих пор тут, — поправила Кристина, разглядывая ногти. — Я ведь предупреждала. По-человече-ски. А ты не услышала. Я не люблю повторять дважды.

— А мне всё равно, виновата ты или нет, — мягко сказала она и кивнула своим.

Дальше всё было быстро и мерзко. Одна толкнула меня в плечо — несильно, проверяя. Я качнулась, ударилась лопат-ками о стену. Другая дёрнула за рукав, третья что-то сказала про «рыбью вонь», и они засмеялись, обступая ближе, и в этом смехе было то жадное, стайное, отчего у меня застыла кровь. Я прижала к груди рюкзак — там была камера, папи-

на камера, единственное, что у меня осталось, — и это они тоже заметили.

— А что это ты так за сумку держишься? — Кристина протянула руку. — Покажи. Что у тебя там такое ценное?

— Не трогай, — выдохнула я.

— Дай сюда. — Она дёрнула за лямку. Я вцепилась. Кто-то схватил рюкзак с другой стороны, потянул, лямка затрещала, рюкзак раскрылся, и камера — папин тяжёлый «Зенит» — выскользнула и полетела вниз, на асфальт.

Я рванулась за ней с криком, какого сама от себя не ожидала, — диким, чужим. Успела. Поймала у самой земли, прижала к себе, согнувшись, закрывая её собой, как закрывают ребёнка. И в этой согнутой, беззащитной позе ждала, что сейчас меня начнут бить.

И тут двор изменился.

Я не сразу поняла, что произошло. Просто смех оборвался. Просто стало тихо — резко, как будто выключили звук. Я подняла голову.

Он стоял у въезда между гаражами — там, откуда они меня загнали в угол. Высокий, тёмный силуэт на фоне жидкого света фонаря. Руки в карманах. Рядом, прижавшись к ноге, замер хромой пёс и глухо, низко рычал. Марк не сказал ни слова. Он просто смотрел на них — медленно, по очереди, на каждую, — и под этим взглядом девочки как-то съжились, попятились.

— Г-Гайдт, — выговорила одна. — Мы просто...

— Я знаю, что вы просто, — сказал Марк. Голос был тихий, ровный, без угрозы — и от этого ещё страшнее, чем если бы он орал. — Вчетвером на одну. У стенки. В темноте. Знакомая математика. — Он сделал шаг вперёд, и они шагнули назад, все разом, как стайка. — Идите домой. И знаете что? Если я ещё раз увижу её зажатой в угол — хоть кем, хоть тобой, Алфёрова, хоть твоими шавками, — у меня тоже найдётся пара фотографий. С прошлой пятницы. Где вы заливаете чужой шкафчик. Камера-то на въезде висит, дуры. — Он усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего весёлого. — Так что бегите. Пока я добрый.

Не знаю, был ли у него правда этот ролик. Я думаю, нет — он блефовал. Но Кристина не стала проверять. Она была умна; она поняла, что связалась не с тем, и что цена внезапно стала слишком высокой.

— Пойдёмте, — бросила она своим, вздёрнув подбородок, пытаясь сохранить лицо. Проходя мимо Марка, она задержалась на секунду и сказала тихо, ядовито: — Защитник нашёлся. Смотри, Гайдт, рыбка-то с гнильцой. Папаша на дне, у самой не все дома. Тебе оно надо?

Марк не ответил. Он даже не посмотрел на неё. Он смотрел на меня — туда, где я скорчилась у стены, прижимая к груди камеру. И Кристина, не дождавшись реакции, фыркнула и ушла, и подружки утекли за ней в темноту, и их каблуки ещё долго цокали где-то между домами, всё тише, тише.

Стало тихо. Только пёс перестал рычать и завилал обрубком хвоста.

Марк прошёл в темноту, туда, куда отлетел мой телефон, нагнулся, поднял. Экран треснул паутинкой, от угла. Он повертел его в руках, хмыкнул.

— Жить будет, — сказал он и протянул мне. — В отличие от их совести.

Я взяла телефон непослушными пальцами. Сквозь трещину на заставке всё ещё был виден папа — старое фото, единственное, где он смеётся, в боцманской куртке, на фоне какого-то причала. Я держала это фото на экране весь год. Трещина прошла прямо через причал, не задев лица, и я зачем-то сказала об этом вслух, глупо, сквозь подступающие слёзы:

— Лицо целое. Трещина мимо лица прошла.

Марк посмотрел на экран, потом на меня. Долго. И не сказал ничего вроде «успокойся» или «это же просто телефон». Он понял. Я видела, что понял.

Марк подошёл. Присел передо мной на корточки — так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Вблизи я наконец разглядела его как следует: серые глаза, действительно как залив перед штормом, шрам через бровь, упрямая складка у рта. От него пахло бензином, холодом и почему-то морем.

— Цела? — спросил он.

Я кивнула. Хотя «цела» было не то слово. Внутри всё тряс-

лось.

— Камера цела? — уточнил он, кивнув на «Зенит», который я всё ещё стискивала.

И вот тут — глупо, я знаю, — у меня брызнули слёзы. Не от страха, не от того, что меня чуть не побили. А от того, что он спросил про камеру. Что он понял — не глядя, не зная ничего, — что эта железная коробка важнее любого синяка. Я закивала и заплакала, размазывая слёзы тыльной стороной ладони, злясь на себя за эти слёзы, и никак не могла остановиться.

Марк не стал меня утешать. Не обнял, не сказал «ну-ну, всё хорошо». Он просто сидел рядом на корточках, молча, и ждал, пока я выплачусь, — и почему-то именно это было правильно. Пёс подобрался ближе и ткнулся мокрым носом мне в руку.

— Его Боцманом зовут, — сказала я сквозь слёзы первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. — Можно? Я его так буду звать. Боцман.

Марк посмотрел на меня странно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.